

Константин Леонтьев

**Из воспоминаний консула
(Князь Алексей Церетелев;
Н.П. Игнатъев)**



Константин Николаевич Леонтьев

Из воспоминаний консула (Князь Алексей Церетелев; Н.П. Игнатьев)

«...Ровно десять лет тому назад в Константинополе, когда еще никто не знал его, кроме самых близких людей и товарищей по службе, – я сказал ему так:

– Вы до того способны, князь, до того даровиты, что вам среднего в жизни ничего даже и не может предстоять. – Вы или будете знаменитым человеком... или...

Он угадал мою мысль и досказал ее:

– Или меня убьют?.. Не так ли?..»

Содержание

Князь Алексей Церетелев	0005
Н.П. Игнатъев	0023

**Константин Николаевич
Леонтьев**

**Из воспоминаний консула
(Князь Алексей Церетелев;
Н.П. Игнатьев)**

Князь Алексей Церетелев

Недавно (16 мая) умер в своем имении этот молодой человек, которого имя связано так тесно с нашими воспоминаниями о последней войне на Балканском полуострове.

Ровно десять лет тому назад в Константинополе, когда еще никто не знал его, кроме самых близких людей и товарищей по службе, – я сказал ему так:

– Вы до того способны, князь, до того даровиты, что вам среднего в жизни ничего даже и не может предстоять. – Вы или будете знаменитым человеком... или...

Он угадал мою мысль и досказал ее:

– Или меня убьют?.. Не так ли?..

– Да, что-нибудь в этом роде, – продолжал я, – умрете рано или на поединке вас застрелят за некоторые ваши выходки...

Он поклонился мне с шутливой почти-тельностью и переменял разговор.

Я тогда уже старел, болел постоянно; думал только о том, как предстать на суд Божий; – и еще о том, как мне, подобно состарившемуся зверю, свернуться где-нибудь в уг-

лу и умереть безболезненно и мирно; – а он был тогда так молод и так красив; так остроумен и весел, здоров и силен, хитер и ловок (ловок иногда и до цинизма!), любезен до неотразимости и по-печорински зол и язвительен.

И вот теперь он умер – этот молодой герой и красавец; – он умер и его уже в землю зарыли; – а я живу, на майскую зелень люблюсь у окна подмосковной дачи, благодарю и славословлю Бога – ко мне столь милосердного, и вспоминаю с горестью и удовольствием об этом человеке, которого, быть может, никто *именно так* высоко не ценил и так беспощадно не понимал, как я.

Я с самого начала нашего знакомства с ним видел в нем не просто умного и способного юношу, служившего при русском посольстве в Турции, а именно *героя*... Героя очень веселого, счастливого и в высшей степени *практического*... человека, редко (я думаю даже никогда) *себя не забывавшего*... героя, *вовсе, вероятно, не идеального* в смысле какой-нибудь внутренней и добросовестной задачи... О! Нет! Алексей Цертелев был не та-

ков. – Не такое, по крайней мере, он на меня производил впечатление.

Он был герой и в самом тесном значении этого слова, т. е. в смысле военного мужества; он был, что называется, просто очень храбр, и вместе с тем он был героем и в другом, самом широком значении этого слова, т. е. человек очень сложный, изящный, занимательный, многосторонний, который бы годился в одно из главных действующих лиц прекрасного, большого и вовсе, разумеется, не отрицательного романа.

В романе он вышел бы даже гораздо лучше и сходнее, чем в таком кратком очерке, который я теперь пишу. – В большом романе, особенно теперь, когда его уже нет на свете, можно было бы, изменяя только имена и некоторые второстепенные и внешние черты действительности, – остаться вернее этой самой действительности по внутреннему ее существу, – чем при так называемом правдивом и точном, простом биографическом воспоминании.

Такие точные, soi-disant[1] правдивые воспоминания очень стеснительны. – Никого по-

что нельзя назвать; – одного назвать совестно; другого неприлично; третьего жалко; четвертого даже страшно и т. д.

А в большом романе Церетелев вышел бы больше самим собою; – и впечатление на читателя могло бы ближе подойти к тому, которое он производил в жизни на тех, кто хотел и умел судить его беспристрастно. – Прав ли я или нет, но я воображаю, что принадлежу к числу этих (очень немногих, впрочем) беспристрастных судей.

От других я большею частью слышал или почти безусловные похвалы, или резкие порицания. – Родные его очень любят и хвалят его сердце и родственные чувства. – Многие из товарищей его и почти все те люди, которым приходилось иметь с ним сношения по делам и в обществе, – напротив того, не любят и не хвалят его характера. – Это и понятно: Церетелев *средних* чувств возбуждать не мог... Его можно было, как Печорина, или сильно любить, или ненавидеть... Что касается до меня, то я признаюсь откровенно, что при начале знакомства нашего в Константинополе в сердце моем по отношению к нему

происходило то именно, о чем Лермонтов так хорошо сказал:

*...то сердце, где кипела кровь,
Где так всечасно, так напрасно
С враждой боролась любовь...*

Да! При первых же встречах я почти влюбился в него; – его юношеская красота, мужественная и тонкая в одно и то же время, его веселость и неутомимая энергия, его отважный патриотизм, его оригинальные шутки и серьезно-образованный ум, равно способный и к теоретической мысли, и к самым быстрым и основательно-практическим соображениям; его настойчивость и даже злость его языка и некоторых его действий, – пленили меня... Я сказал уже, что я тогда все болел и ужасно тосковал и собирался все в тот же дальний и страшный путь, из которого нет более возврата; – при этом мне казалось, что я овладел некоторыми истинами, которых развитие и распространение было бы в высшей степени полезно. – Что успел, то написал и напечатал; что не успел – хотел передать другим; мне тогда было сорок с лишком лет; – Це-

ретелеву едва ли было в то время двадцать пять. – Я считал себя «непризнанным», «непонятым», не успевшим высказать и сотой доли того, до чего додумался в полной независимости жизни и ума, и возмечтал сделать из него приверженца моих идей, моей системы, ученика моих взглядов на наши отношения к славянам, грекам и Востоку. – Я возмечтал быть чем-то вроде его предтечи и готов был счесть себя недостойным «развязать ремень его обуви»; я соглашался остаться «гласом вопиющего в пустыни» – с тем, чтобы он был тем по отношению ко мне, чем бывает прекрасный цвет и сочный плод к листьям, опадающим, как будто бы, бесследно...

Церетелев *тотчас же* понял эту мечту или эти мои претензии (хотя я прямо и не говорил ему ни разу: «будьте учеником моим») и начал делать мне всякого рода маленькие *шikanы* и неприятности; отчасти – по какому-то печоринскому капризу, отчасти по другим соображениям, с точки зрения лично-романтической, может быть, и весьма мелким, и *вовсе не мелким, но очень важным* с точки зрения практических требований жизни...

Знакомые и приятели наши говорили обо мне прямо:

– Не браните при нем Церетелева... il a des entrailles de pere pour lui[2]...

Вероятно, этого одного или чего-нибудь подобного достаточно было для этого юноши, блестящего и гениального, но все-таки «хищного» (как говорил Аполлон Григорьев), чтобы он почувствовал непреодолимую жажду той небольшой тирании, которой подобного рода характеры любят подвергать расположенных к ним людей... Я тоже очень скоро понял это, не давал ему спуска, насколько умел, и, наконец, не перестав «объективно», так сказать, восхищаться им, переменил с ним обращение и отдалился от него. – Это пещоринство.

Но кроме этого демонизма (очень все-таки любимого мною в таких молодцах) было тут нечто и другое, более практическое, как я уже сказал выше.

Я к тому времени стал и на словах, и в печати приверженцем не греков (это было бы глупо), а *Патриарха Вселенского и вообще духовенства Восточного* и защищал их противу

либерального посягательства болгарских демагогов, захвативших тогда Церковные дела в свои *хамовато-европейские* руки.

Лица несравненно более меня влиятельные и сильные были иного взгляда, громили греков и не хотели *осадить* болгар. – Теперь главная опасность этого вопроса миновала; – разрыва у русской Церкви с греко-восточной Церковью не будет ... Тогда было другое время; время очень горячее и для всего Православия до того опасное, что до сих пор на понимающих эти события само воспоминание об них наводит ужас... и заставляет изумляться, с одной стороны, затмению человеческих умов, а с другой, милосердному «смотрению» Божию, пощадившему Православную паству свою и русское достояние свое и на этот раз!..

Это было в 1873 году.

Я, проживши около года на Афоне, – обвиненный его святыней, его поражающими строгостями, *впервые* понял тогда сущность вопроса с настоящей *духовной* точки зрения; т. е. что это просто *великий грех* нарушать так сознательно, лукаво и преднамеренно Уставы Церкви, как нарушали их болгарские либе-

ральные вожди по соглашению с турками, обманывая и свой простой народ, и нашу дурацкую интеллигенцию.

Я трепетал за единство Церкви, у которой есть только две могучие опоры: русский Государь и русский народ, с одной стороны, и греческое духовенство, с другой... Я верил заодно с Св. Царем Константином, что *и с политической точки зрения чистота и строгость Православного учения важнее нескольких провинций...*

Князю Церетелеву ни до чего этого дела не было; для России он, видимо, желал только *немедленного успеха, силы и влияния; для себя?.. Для себя – тоже немедленного успеха, силы и влияния...*

Я не мог ему этого доставить; иные из тех многих, которые были за болгар и которые были со мной не согласны, – *могли...*

На что же я ему годился?

Ему нужны были движение, борьба, карьера... а не отеческая дружба человека вовсе не влиятельного и не властного...

Вот если бы я был облечен властью – тогда было бы, вероятно, иное!..

Итак, понявши очень скоро, с одной стороны, мои на него виды; с другой – мое невыгодное в то время положение относительно высокопоставленных лиц, – по болгарскому вопросу со мной не согласных, – Церетелев стал нарочно затевать со мною в обществе споры, чтобы раздражать и сердить меня и, вероятно, чтобы доставить этим некоторое удовольствие тем, кому было нужно. – Спорил он недобросовестно, не так, как спорят простые и вместе с тем искренние и смелые приверженцы какой-нибудь драгоценной идеи; – он спорил не с целью убедить или убедиться, а лишь с желанием под видом веселого, полушуточного, полуобидного товарищеского глумления производить выгодное для себя впечатление...

Я тогда только что впервые «прозрел» в делах Церкви; я думал, что и все умные люди должны будут точно так же прозревать вслед за мною, когда я им скажу, что и я года два-три назад ошибался точно так, как ошибаются они теперь, полагая, что *чисто племенной вопрос с эмансипационным оттенком во что бы то ни стало* гораздо более ва-

жен, чем вопрос Церковной дисциплины, и даже есть такие сочетания, при которых либералы болгары и сербы могут для нас стать (именно близостью и политической дружбой своей) опаснее всяких польских шляхтичей и повстанцев. – Поляки, правда, спирт легко воспламеняемый; но *мы знаем*, что они спирт, и всегда более или менее готовы тушить его; а религиозный индифферентизм югославянской буржуазии – это мутная и загнивающая вода, вливаемая сначала понемногу и осторожно, а потом и крайне нагло и безбожно в старое, могучее и драгоценное вино *греко-российского* Православия... Что с нею делать, с этой зловонной водой демократического европеизма?

Мне все кажется, что Церетелев *очень хорошо* и скорее всякого другого понимал все, что я тогда говорил; – но он понимал также, что ему, начинающему свою карьеру, *не рука* соглашаться с моими истинами...

Что я не ошибаюсь – на это есть доказательства... Особенно, припоминаю, например, по-видимому, неважных три случая.

Во-первых, я замечу, он до того был даро-

вит (и, быть может, даже гениален), что при всей огненной, можно сказать, практической находчивости своей овладевал почти мгновенно и теоретической основой вопроса и находил для выражения этой теоретической основы именно те слова, которые были нужны.

Так, например, – однажды у меня с одним из весьма умных русских людей на Востоке был спор о супружеской верности. – Противник мой, считая себя вполне Православным, говорил и о *чести*. – Я возразил, что понятие о *чести* в этом деле не есть понятие Христианское; а скорее – европейское, и вообще условное... Церетелев вмешался в спор и стал на мою сторону. (Здесь он мог дать волю своему беспристрастию, ибо и противник мой, хотя и высокопоставл. по службе, в то время не был еще в таком властном положении, чтобы Церетелеву он был бы очень нужен, и самый вопрос *текущей* политики не касался.) – Противник наш был один из умнейших и образованнейших русских людей нашего времени; – и убедить или даже переспорить такого человека было нелегко. – Я, который целый год перед этим прожил с афонскими монахами и

только и думал в то время о том, что «грех» и что «не грех» по учению Церкви (ибо для меня то время было каким-то возрождением сердечным и умственным, как бы *вторым крещением...*), – я сознаюсь, – нашел лучшим замолчать и предоставить Церетелеву защищать мою же тему. – Не отвергая ничуть понятия о чести и не чуждаясь его – он говорил только, что Православию до этой стороны вопроса нет и дела; что бесчестие даже может быть полезно для смирения и т. д. ... А дело в том, что «Dieu le veut», Бог дал заповедь верности – и кончено. – Я помню – он прибавил: «Я сам, положим, ни во что это не верю; – но когда рассуждаешь о Христианстве, – то надо же становиться на точку зрения Церкви и не забывать существенных принципов учения...»

Слов его на этот раз я с точностью не помню, и понимаю, что и я сам мог бы сказать то же самое; – но я зато помню очень хорошо мои побочные мысли во время этого спора. – Я молчал, слушая его, и думал про себя: «Как он способен – этот юноша! – Сколько ясности и твердости в уме его, сколько энергии в тем-

пераменте!.. *Настоящие* Православные идеи у нас так забыты и засыпаны так давно всяким утилитарным, гуманическим и другим западным хламом!.. Мне в сорок лет нужно было снова уверовать, прожить год на Афоне, чтобы уметь говорить то, что этот двадцатипятилетний молодой человек говорит и без веры, и без помощи духовного чтения или духовнических бесед...»

В этом споре он случайно был на моей стороне; – но случился и другой еще спор, в котором он сначала не принимал участия и внезапно прекратил его, вмешавшись видимо противу меня, но вместе с тем так, что и противнику моему показал косвенно, как бы *нужно* было «ставить вопрос». – Речь шла о тогдашних распрях на Афоне между греческими и русскими монахами за права на Афонский Св. Пантелеймона монастырь, обыкновенно называемый Руссик. – Я – всем сердцем преданный духовникам Руссика О. Иерониму и Макарию, обязанный им донельзя, почти влюбленный в них духовно, как влюбляются женщины в своих «directeurs de conscience»[3], – не мог ни на минуту забыть,

что и для пользы Церкви, и для будущего России – нам в Церковных делах на Востоке надо быть прежде всего в тесном союзе с греками и что греко-русский союз на *почве (преимущественно, если не исключительно) Церковной* есть самая несокрушимая в мире сила, ибо последствия такого Церковного единения неисчислимы, и ветви от этих вековых корней часто незаметной, но необъятной и несокрушимой сетью покрывают всю историческую жизнь Христианского Востока от Новой Земли и Камчатки до берегов Нила, Вислы и Дуная...

Я доказывал, что в случае крайности, во имя Церковного «домостроительства» и во имя политической дальновидности, надо пожертвовать даже и самыми *справедливыми* требованиями русских монахов и, вознаграждая их сторицей иначе, – уступить грекам, *не как грекам, а как афонцам*, ибо Афон в некоторой степени важнее для нас, чем самый Иерусалим. – В Иерусалиме, конечно, почти каждый камень – святыня, – *но только камень*; — а на Афоне мы и теперь, во времена Лессепсов и Нечаевых (не знаю, кто хуже, я

думаю, Лессепс!), можем видеть жизнь почти такую же святую, какую видели современники Иоаннов Златоустов, Симеонов Столпников и Пахомиев Великих.

Так я думал и тогда, но не ручаюсь, что я тогда так ясно говорил нашим дипломатам, как говорю теперь. – Я ручаюсь за одно, что мне возражали совсем не то, что нужно. – Мне говорили (и вовсе не шутя, хоть и всё с улыбкою), что греки «подлецы», что они «льстивы до сего дня», что даже и хорошие монахи-греки на Афоне теперь (в 1872–73 годах) так раздражены и сбиты с толку пугалами панславизма и болгарской схизмы, что они Бог знает, что делают; «удивляюсь, как это вы, такой друг духовников Руссика, хотите даже их принести в жертву...» и т. д. <...> Признаюсь, на такие соображения, которые прилично слышать лишь от молодой «дамы», – я не знал, что и сказать нашим дипломатам... Мне было стыдно за них...

Алексей Цертелев сразу повернул дело на настоящий путь.

Он обратился ко мне и сказал:

– Надо прежде всего спросить себя – что

мы, русские, должны предпочитать: *отвлеченные ли принципы учения Православного*, или вещь непосредственно-доступную – *интересы русских подданных* на Востоке? – Пантелеймоновские монахи на Афоне – прежде всего русские подданные и владеют русскими деньгами. – Если мы предпочитаем отвлеченные принципы, то можем потворствовать и грекам даже и в несправедливостях; а иначе – не следует. – Я, с моей стороны, того мнения, что этого не следует делать и что обязанность наша защищать русских подданных и нам ближе и яснее.

И я, и тот, который противоречил мне, – оба мы должны были сознаться, что дело объяснено сразу лучше нашего. – Мне осталось только согласиться с этим и прибавить: «Конечно, это так, но только если мы не будем всеми силами поддерживать то, что вы зовете *отвлеченными* принципами, а я *живой силой*, то Православных-то скоро и русских подданных ни единого не останется...

– Что же – не китайцы ли уничтожат нас? – спросил насмешливо князь...

– Хотя бы и китайцы, – отвечал я.

– Гоги и Магоги, – тотчас же нашелся князь, и все рассмеялись.

Но я нахожу, что и в этой ничтожной полушутке о китайцах была бездна ума; *она доказываю, что он, вероятно, и сам о такой возможности думал...*

Думал он обо всем, быть может, но действовал и говорил лишь о том и в пользу того, чего требовала политическая «злоба дня» – и его личные интересы.

Н.П. Игнатьев

Я всегда говорил про этого человека, что его легче описать, чем определить. В первый раз я услышал его имя от полковника Писаревского, к-рый издавал в 1861–62 году газету «Современ. слово». – Я жил тогда в Петербурге и решительно не знал тогда наших государств. и политич. деятелей и вовсе об них не думал. – Не знаю почему, эти слова Писаревского, к-рые я выслушал без всякого участия и к-рые ни малейшего значения не могли для меня иметь, ни лично, ни в каком-ниб. отвлеченном смысле, – так сильно врезались мне в памяти...

Слова эти были очень просты: «Игнатьева назначили директором Азиатского Департамента». Я даже и о том, что такое Азиатский Департамент, ясного понятия не имел, и до Восточного вопроса мне тогда не было никакого дела. – Вообще я в то время и о внутрен., и о внеш. политике очень мало думал. – Женщины, любовь, поэзия, естественные науки и какая-то эстетическая философия – вот что меня занимало тогда. Я помню даже, что Пи-

саревский в эту минуту стоял, и выражение лица его очень хорошо помню; не знаю, почему это я так помню, точно в этом была какая-то судьба.

Не надо, однако, думать, что я совсем не имел понятия о фактах нашей внешней политики; я, еще живя перед этим у бар. Розена, в Арзамасском уезде, с большим удовольствием и вниманием читал тогдашние политич. обзоры «Рус. вестника». — Они, как известно, были в своем роде превосходны, хотя и весьма либерального направления; очень может быть, что чтение этих обзоров и др. статей «Рус. вестника» меня подготовило к позднему пониманию государствен. и полит. вопросов, но не более того, как может подготовить человека к позднему религиозному пониманию Катехизис и Свящ. Ист. в училище; все-таки остается в памяти множество фактов, имен, какие-то общие «веяния», какие-то смутные, но неизгладимые впечатления, к-рые позднее, когда человек сам захочет все это припомнить, и без вторичного чтения приносят плоды. Вот так, должно быть, действовали на меня и полит. статьи «Рус.

вестника», хотя, когда я их читал, мне было уже под тридцать лет. – Впрочем, мож. б., я и клевету на себя; м. б., я и тогда не хуже понимал их, чем всякий неглупый читатель; но мне кажется, что я все это не так понимал, как начал понимать, когда сам стал политическим деятелем. Верно только то, что если у меня и были какие-нибудь полит. мысли, то не было ни политич. убеждений, ни тех политических пристрастий, к-рые необходимы для этих убеждений. – Так, напр., из «Рус.» же «вестника» я помнил, что этот же самый Игнатьев был послан в Китай и много там для нас выиграл во время англо-французской войны с Китаем; – но в памяти моей не осталось никаких размышлений по этому поводу и чувств.

Судьбе угодно было, чтобы вскоре после этого я принужден бы был обратиться к этому самому человеку с просьбой принять меня на службу и после этого прослужить десять лет под его начальством.

Поступил я на консульскую службу тоже гораздо более по эстетическому, чем по политическому побуждению; не знаю – каяться ли

мне в этом или гордиться? – Предпочитаю гордиться; потому что правильная и глубокая эстетика всегда, хотя бы незримо и бессознательно, содержит в себе государственное или политическое чувство. – Обстоятельства вынудили меня тогда жить совершенно несоответственно всем моим вкусам, идеалам и привычкам; я с юношеских лет, например, терпеть не мог столичный литературный и ученый круг, и из других отрывков моих воспоминаний можно видеть, что я общество донских казаков в степи под Керчью и компанию феодосийских греков-мещан предпочитал не только обществу моих товарищей-студентов московских, но даже и таким домам, в которых я мог встречать Кудрявцева и Грановского. – И вот обстоятельства сложились так, что мне около 2-х лет в Петербурге пришлось вращаться в обществе второстепенных редакторов, плохих и озлобленных фельетонистов, вовсе не знаменитых докторов и т. п.; к тому же, несмотря на то, что полит. убеждения мои тогда еще не выработались так ясно, как я сказал, они выработались позднее, – все эти люди принадлежали более или менее к тому

демократическому направлению, к-рое я прежде, в юности, так любил и от к-рого именно тут, в Пет-бурге, стал все более и более отступаться, как скоро *вдруг как-то* понял, что идеал его не просто гражданское равенство, а полнейшее однообразие общественного положения, воспитания и характера; меня ужаснула эта серая скука далекого даже будущего, и я в течение 2-х зим до того переродился, что мне стало все то нравиться, что мне было прежде почти чуждо, и дорожить я стал многим из того, что прежде я готов был охотно пожертвовать, так сказать, отчасти для гуманности, отчасти для поэзии либерального движения. – Мне стали дороги: монархии, чины, привилегии, знатность, война и самый вид войск; пестрота различных положительных вероучений и т. д. – Личное положение мое тогда было невыносимо тяжело, но об этом я здесь распространяться не буду; газетным тружеником я быть ни за что не хотел; высшая литература мне не могла тогда дать средств к жизни. – Медициной заниматься опять, хотя и недавно оставленной, мне тоже не хотелось; она слишком много от-

нимала времени у литературы. – Я бы желал найти такого рода практическое занятие, которое было бы благоприятно и для того, что я считал своим призванием. Пока я был либералом, я считал позволительным служить нашему, тогда еще не либеральному государству или врачом, потому что это гуманно и необходимо при всяком строе общества, или военным во время войны, потому что это жестоко и опасно. Я помню, что я в 1858 или 1859 году очень стеснялся тем, что меня произвели в коллежские асессоры даже по Министерству внутрен. дел, и баронесса Розен очень над этим смеялась, и очень был доволен тем, что после двухлетней кампании в Крыму не имел никакого знака отличия; но (как подробно развивает Милн Эдвордс в своей «Сравнительной физиологии») животное высшее только временно переживает то, при чем животное низшее остается навеки; я был животное высшее и не мог остаться навсегда при либерализме, раз его понявши. Все, кто знает меня хорошо, поверят мне, если я скажу, что я не оттого переменял убеждения, что поступил на службу, а оттого готов был при-

нять вечную гражданскую службу, что, встретившись с петербургским демократизмом, переменил убеждения.

Итак, по настроению моему – я был подготовлен... Нужен был так называемый случай, или судьба; таких случаев было разом два – один за другим: неожиданная встреча с М.А. Хитрово, к-рый ехал консулом в Македонию, и так же мало ожидаемый приезд Дмит. Григ. Розена из Нижегород. губ. в Петербург. – Первый дал мне именно такое понятие о должности консула в Турции, которое было нужно, чтобы меня привлечь; а бар. Розен познакомил меня с граф. Ник. Ник. Зубовым, к-рый рекомендовал меня Игнатьеву.

Раз брат мой Влад. Ник., у к-рого я жил, вернувшись домой, сказал мне, что встретил на улице «Мишу Хитрово» (мы знали его с детства в Калуге) и что он очень желал бы меня видеть, но скоро уезжает. – Часов в 10-ть вечера, или еще позднее, я пошел в Hotel Napoleon на Исаакиевской площади, но Хитрово не застал. Слуга сказал мне, что он вернется непременно, но очень поздно ночью, и завтра уедет в Турцию. – *Не знаю, почему*

именно я остался его ждать до 2-х часов ночи; до такой же степени мне его хотелось видеть, и общего у нас, кажется, в то время не было ничего, – но по какому-то капризу или фаталистическому движению я велел себе подать холодного жаркого, вина и прождал его долго; часа в 2 ночи он приехал, показал вид, что очень мне рад, и стал расспрашивать, чем я тут занимаюсь. – Это было в котором-то из зимних месяцев 1861-го года, перед Манифестом об освобождении крестьян или тотчас после него – не помню; но в то время я еще все так расстроен не был, как на следующую зиму, и положение мое, как человека никому не знакомого в Петербурге, было еще тогда не дурно. – Товарищество общественной пользы, в к-ром членами состояли Струговщиков, Водов, Пахитонов, Кавос и Писаревский, платили мне весьма недурные деньги за переводы статей по естествоведению из немецких журналов «Gegenwart» и «Wissenschaft» и из французских также, не помню из каких; и, сверх того, давали по 60 р. сер. в месяц только за группировку подобных переводных статей моих и чужих в книжке предполагаемого из-

дания «Музей». – Я возлагал на это большие надежды; может б., я и ошибаюсь, но, мне кажется, я воображал тогда, что правильное понимание ботаники, зоологии, черепословия и даже социологии как естественной науки разовьет в обществе то эстетическое мирозерцание, к-рым я сам дышал, и заставит большинство стать умнее, великодушнее, энергичнее и даже красивее наружностью. – Здесь не хотелось бы мне отвлекаться и рассказывать о тех оригинальных статьях и книгах, к-рые я тогда уже задумывал именно в этом направлении, но к-рым не суждено было даже и видеть света Божьего, ибо одни из них не были написаны, а другие – сожжены.

Итак, хотя я еще не спешил приступать в начале 1861-го года к тем воображаемым великим творениям моим, к-рые должны были произвести революцию сначала в России, а потом во всем человечестве, но все-таки «на всякое время и на всякий час» был преисполнен этого изящного пантеизма и готов был проповедовать его всякому, кого только считал способным что-нибудь понять.

Поэтому на вопрос Хитрова, чем я теперь

занимаюсь, – я и начал ему это проповедовать. – Выслушав меня, Хитров отвечал: «Конечно, естественные науки – это очень важно и хорошо, но есть и другая сторона, к-рая не менее важна; например, защищать в Болгарии Православие и бороться против Католицизма; болгары – славяне и единоверцы наши, и мы должны там поддерживать наше влияние. – Я назначен консулом в Битолию и завтра еду туда».

Сказавши это, он встал и показал мне очень красивый крест и небольшое Евангелие, переплетенное в пунцовый бархат и украшенное серебром и золотом, к-рые послала через него Вел. Кн. Елена Павловна для какой-то македонской церкви. – До этой минуты мое знакомство с болгарами было довольно поверхностное; все оно ограничивалось двумя впечатлениями, или двумя воспоминаниями. – Одно из них было следующее. – Служа во время Восточной войны в Крыму военным врачом, я увидел раз где-то, что идет через какой-то сад какой-то человек в одежде вроде татарской, только потемнее, не так яркой, и спросил у кого-то – не помню: «Что это

за человек?» – Мне сказали: «Это болгарин; тут есть болгарские села». – Другое же воспоминание о болгарях оставила еще с детства в уме моем картинка тогдашнего издания «Живописный Карамзин».

Примечания

так называемый (*фр.*)

[^^^]

2

Он в недрах своего отца (*φρ.*)

[^^^]

духовных наставников (*фр.*)

[^^^]